

Автор этих воспоминаний, перу которого принадлежат четыре романа, повести и рассказы, родился в 1936 г. в Горьком в семье военнослужащих. Поступив в Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознамённую академию им. С. М. Кирова в Ленинграде, закончил её в 1954 году. Служил на подводных лодках и кораблях Черноморского и Северного флотов. В 1972 году закончил командно-медицинский факультет Военно-медицинской академии, и после вся его служебная деятельность прошла в центральном аппарате ВМФ СССР. Полковник медицинской службы, был главным эпидемиологом Военно-морского флота, сейчас в отставке. Занимаясь литературным творчеством, стал лауреатом всероссийских и международных литературных премий. Член Союза писателей России с 1979 года. Живёт в Москве и постоянно сотрудничает с журналом "Наш современник". Его воспоминания о годах учёбы в знаменитой Военно-медицинской академии, курсантском житье-бытье в Рузовке, как называли своё общежитие-казарму курсанты, написаны живо и увлекательно.

ЮРИЙ ПАХОМОВ

ПРОЩАЙ, РУЗОВКА!

Моим однокашникам по Военно-медицинской академии. Тем, кто жив и кого уже нет с нами.

... Многие считали, что на втором курсе будет легче. Второй курс всё-таки — привыкли, пообтёрлись. Да и жить нам предстояло не в полуподвальном помещении бывшей Обуховской больницы, а в Рузовской казарме. И почему-то это обстоятельство рождало в юных душах особую надежду.

Казарма, как нетрудно догадаться, называлась так потому, что стояла на улице Рузовской. Тем, кто подзабыл Петербург, напомним: сразу за Витебским вокзалом на Загородный проспект, стекающий вниз от центра, выплескиваются несколько улиц, названных в честь городов русских, — Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. В стародавние времена на них размещались роты его Императорского Величества лейб-гвардии Семёновского полка. Если сложить начальные буквы названий этих улиц, то выходило: "Разве можно верить пустым словам балерины?" Только лихой лейб-гвардеец, оставленный возлюбленной, мог создать такой печальный акростих. Некоторые исследователи утверждают, что вместо "балерины" воины чаще всего использовали более крепкое словцо. Вот в таком историческом месте нам суждено было жить.

А отпускники всё прибывали и прибывали. Возмужавшие, загорелые, с двумя серебрястыми галочками на левых рукавах белых форменок, на погонах посверкивали якорьки, нередко не те, что выдавали баталёры, а неуставные, заказанные в мастерских. Стояло начало сентября, гроздьё ягод боярышника свисали с колючих ветвей, в парке академического городка кое-где уже

проступала желтизна, пахло сырыми дровами и “Тройным” одеколоном – запах накатывал из парикмахерской, где орудовал доктор парикмахерских наук Макс.

Ребята, свалив рюкзаки и чемоданы в кучу, разбрелись по парку. На скамейках у памятника Пирогову сбилась стайка курсачей: Вилли Цовбун, Женя Журавлёв – Джага, Толя Соловьёв, Ваня Палёный, Витя Родин, Толя Брюховецкий. В центре – Славка Филипцев по прозвищу Конь, кликуху ему прилепили за успехи в беге на длинные дистанции, соревноваться с ним мог только чемпион Олимпийских игр Куц да ещё Витька Шостак. Филипцев помахал мне бескозыркой и крикнул:

– Юрец, подгребай!

Славке очень подходило прозвище, он и в самом деле был похож на коня и одновременно на актёра Фернанделя. Начальник кафедры анатомии профессор Годинов как-то сказал ему:

– Вы избрали не ту профессию, Филипцев. Из вас получился бы блестящий актёр.

Славка скорчил уморительную рожицу:

– Герой-любовник?

– Берите выше – комик. Редкостный дар. Героя-любовника может сыграть и мой шалопай, – профессор вздохнул. Его сын Руслан учился на нашем курсе. У нас вообще было много отпрысков академической профессуры и высокого начальства. Отец Ярослава Караганова – вице-адмирал, начальник управления в Москве, Виктор Подолян – сын заместителя начальника академии по научной работе, Сашка Нецветаев – сын начальника кафедры физкультуры и спорта и так далее. Всех перешиб Эдик Новиков – его отец занимал должность заместителя начальника Тыла Вооружённых Сил, появление бонзы столь высокого ранга всегда вызывало у академического начальства панику. Генерал ходил по кубрикам, хмуро заглядывал в тумбочки, а его порученец измерял линейкой расстояние между койками. Посещение высочайшего папаши неизменно заканчивалось указанием начальнику курса: наказать сына за... Повод всегда находился. Деньги на карманные расходы Эдик получал тайком, от матери. Отец считал это баловством. Основная же курсантская масса – безотцовщина, бедолаги из провинций и блокадного Ленинграда.

Догорало питерское бабье лето. Я прислушивался к разговорам товарищей, а сам был ещё там, в нашем краснодарском дворике, где прямо пахли петунии и ночная красавица, а в сумраке светились белёные известью печки, на которых соседи готовили летом еду. Как приятно было сидеть на скамейке, чувствуя спиной теплоту кирпичного дома. На крыльцо выходила тётя Маня и, вытирая руки о фартук, звала: “Иди ужинать, моряк, красивый сам собою”.

Во мне ещё жило ощущение простора, что открывался с высокого берега Кубани: зелёное болотистое заречье, а за ним у слоистого горизонта проступали синие горы. Могучая река, стиснутая берегами, стремительно несла жёлтые воды, закручиваясь в водовороты и всплескиваясь на перекатах. Отсюда, с высоты, лодка черкеса-перевозчика выглядела маленькой, хрупкой, и, хотя перевозчик напряженно грёб, казалось, что плоскодонка стоит на месте. Утонувшие в садах белые домики Дубинки, высохшая за лето старица Кубани – “первуха”, ощущение свободы...

Мне не верилось, что на втором курсе будет легче, что-то подсказывало, что нас ждут большие перемены. Первый курс я одолел легко, не смутили меня и лагерные сборы, я был хорошо подготовлен физически, окончил двухгодичную школу бокса при юношеской спортивной школе, выиграл первенство академии, был включён в сборную и на Всесоюзном первенстве Высших военно-морских учебных заведений дошёл до финала. Спортсмены в академии пользовались льготами. В городе я бывал чаще других: тренировки, сборы. Курс подобрался спортивный. Особенно выделялись ленинградцы и москвичи. Ещё во время лагерных сборов в Приветнинском сложилась крепкая волейбольная команда во главе с Борисом Ходкевичем, мастером спорта, членом молодёжной сборной страны. Немало было и спортсменов-разрядников по другим видам спорта: самбистов, боксёров, фехтовальщиков, легкоатлетов, штангистов. Неудивительно, что на первенстве академии наши волейболисты и боксёры разгромили команды старшекурсников, заняв первые места. И с учёбой у меня всё шло гладко. Что-то будет на втором курсе?

Подошёл Игорь Кравченко.

- Слышал, роты перетасуют и, возможно, мы окажемся в одном взводе.
- От кого узнал?
- От Витьки Подоляна.
- И что ещё?
- Сменятся командиры рот. Начальник курса Паша Ревенко останется.
- Уже хорошо.

Игорь переживал первую любовь. Он похудел, почернел, в глазах его появился металлический блеск. Нину я видел всего два раза. В такую девушку невозможно было не влюбиться. Матовая, как бы светящаяся изнутри кожа, яркие насмешливые глаза, сложена превосходно. Ей шло всё пестрое, цветастое, цыганское, что ли. Умна, иронична, раскованна. Мы были ровесниками, но по сравнению с ней выглядели неловкими подростками. Помнится, тогда я подумал, что союз этот вряд ли долго продлится. Так и вышло. Через несколько лет Игорь напишет такие стихи:

*В закате вечер поздней осени,
В нём просинь — тылая река.
Над головою редкой проседью
Лежат спокойно облака.*

*За железнодорожной насыпью,
Как клетка, что без птиц пуста,
Прозрачную ажурной массой
Дрожит под ветром старый сад.*

*Семь лет назад такой же осенью
Я провожал тебя сюда,
И в тихих оголённых просеках
Стояла жёлтая вода...*

Дико подумать, мы с Игорем жили в одном городе, но ни разу не встретились. Из торцевого окна школьного коридора можно было разглядеть ворота в типичный краснодарский двор с низкими кирпичными домами, в одном из них жила семья, приютившая Игоря, — дядя Лёня, тётя Нина и двоюродная сестричка Лидоша, в другом, совсем уж маленьком — бабушка. Игорь — сирота, отца потерял в раннем детстве, мать — начальник поезда, перевозившего военные грузы, умерла в конце войны. Учились мы в разных школах и встретились при поступлении в академию.

Первый отпуск, запах гари, натужный паровозный гудок, мохнатым комом укатывающийся в ночную темень, редкие огни, Краснодар, площадь переревших слив и, наконец, знакомый забор с огромной акацией. Мы ещё не друзья, мы однокурсники, поэтому видимся редко, и нет ещё чувства тяготения друг к другу.

Я внимательно вглядывался в лица однокашников. За год ребята подравнились, уже не отличишь, кто городской, кто деревенский, Ленинград наложил на них отпечаток, и акцент сохранился разве что у белорусов, да и то он еле заметен. Вот сидит, упершись локтями в раздувшийся от деревенских даров “сидор” — зелёный вещмешок, Саша Гаврушев. Саша в восемнадцать лет увидел паровоз и впервые попробовал лимонад. Он незаметен, говорит тихим голосом, неразличим в толпе. Разве мог я тогда предположить, что Гаврушев сделает самую блестящую среди однокурсников карьеру военного врача — станет начальником медицинской службы Балтийского флота.

Жизнь не раз сталкивала меня с Сашей то на Северном, то на Тихоокеанском флоте, то в Ленинграде. Хочется думать, что мне удалось сыграть определенную роль в его жизни. Как-то после заседания научно-технического комитета одного закрытого НИИ я отпустил машину на Невском и пошёл пешком по Владимирскому проспекту. Нужно было освежить голову. Заседания обычно заканчивались часов в семнадцать, дальше — несколько часов свободного времени, “Красная стрела”, утром Москва и сразу, с вокзала, на работу. Можно успеть навестить друзей, посидеть в ресторане или просто побродить по вечернему Ленинграду. На этот раз у меня были два билета в Мариинку на

балет “Лебединое озеро”. Январь стоял сухой, морозный, по Владимирскому проспекту мела поземка. У подсвеченного огнями подъезда театра Ленсовета я едва не столкнулся с Сашей Гаврушевым. Шёл он, засунув руки в карманы шинели, шапка надвинута на лоб. Обнялись. Саша предложил:

– Пойдём посидим где-нибудь, выпьем.

– У меня встречное предложение, идём в Мариинку. Есть лишний билет.

– Что-то мне сегодня не до искусства. Настроение скверное, поговорим по дороге. Я тебя провожу.

Мы миновали глыбу Владимирского собора, свернули на Загородный проспект. Саша рассказал, что служит на Камчатке, флагман дивизии атомных подводных лодок, надоело, перспектив никаких. Сейчас в отпуске, остановился в “Октябрьской”, завтра в Москву, нужно поговорить с кадровиком Советовым. Может, что предложит.

– Незачем тебе в Москву ехать.

– Не понял.

– В ложе Мариинки сегодня будет Игорь Константинович Советов. Мы с ним вместе возвращаемся в Москву. Вот и поговоришь в непринужденной обстановке. Выпьем в поезде, перед отходом. Бутылка коньяка у меня в портфеле.

Мариинка, балет, коньяк, беседа в курилке – через три месяца Саша в Советской Гавани в роли начмеда базы, а еще через два года – заместитель начальника медицинской службы Тихоокеанского флота. Служба пошла.

По высвеченному солнцем больничному парку летали серебристые паутинки, в виварии лаяли собаки. Неподалеку от вивария в тенистом углу размещался морг. В нём, в начале века, лежало тело поэта Иннокентия Анненского, умершего на ступеньках Царскосельского вокзала, а по дорожке, ведущей к главному зданию Обуховской больницы, некогда прохаживался со свитой принц Ольденбургский, а на лестничной площадке больницы, перед тем как броситься в пролёт лестницы, страдал от тоски и безысходности гениальный и безумный писатель Всеволод Гаршин. История переплелась с реальностью...

От КПП к памятнику Пирогову шли, точнее, плыли по воздуху старшины рот: высокий, сутуловатый, со сросшимися у переносицы бровями Николай Ермилов и всеобщий любимец Константин Артарчук, с трудом удерживающий на лице суровое выражение. Ермилов поднял руку и крикнул:

– Всё, дробь! Отпускную расслабленность отставить. Всем следовать в Рузовскую казарму. Вопросы?

– Строем пехать или можно индивидуально? – спросил Филипцев.

– Индивидуально, причём осторожно переходя проезжую часть улицы.

Филипцев – московский хулиган с Якиманки. Только тройка по поведению помешала ему получить золотую медаль в престижной школе, где учились сынки дипломатов, крупных партийных работников и министров. За шесть лет учёбы я ни разу не видел Славку с учебником в руке, зато лекции он слушал внимательно, перед экзаменами ему достаточно было полистать чужой конспект. Поступки его чаще всего были неординарны, а уж шуточки всегда на грани фола.

Казарменный галльон с унитазами типа “генуя” – священное для курсантов место (пусть не морщатся чистоплюи, никогда не служившие в армии), здесь можно укрыться от старшинского гнева, обсудить последние новости, перекурить. Одним словом, клуб по интересам.

И вот сидим мы в позиции “орла”, беседуем, и тут приоткрывается дверь и кто-то командует:

– Встать, смирно!

И этот “кто-то”, несомненно, старшина роты. Голос не спутаешь.

Мы вскакиваем как есть. У дневального Руслана Годинова срывается с ремня штык от карабина и исчезает в глубинах фановой системы.

– Вольно, ребятки, проверка боеготовности, – в проёме сияет улыбающаяся рожа Филипцева.

– Сволочь ты, Славка, – горестно говорит Володя Тюленев. – Я же только чехол выстирал.

Его белая бескозырка лежит посреди лужи. Недавно была приборка.

– Заметь, Вова, бескозырка всегда падает белым чехлом вниз. Закон термодинамики.

– Да пошёл ты...

Руслан чуть не плачет:

– Идиот, как же я теперь достану штык? За утрату оружия знаешь, что бывает?

– Минимум – штрафбат, максимум – вышка. Ничего, прорвёмся. – Славка начинает раздеваться. Оставшись в одних трусах, ухмыляется:

– Слабонервных прошу покинуть служебное помещение.

Филипцев бесстрашно засовывает длинную обезьянью руку в зев унитаза и через минуту извлекает оружие. – А теперь, братцы, мыться. Тащите воду из титана.

Намыливают Филипцева вчетвером. Голова, грудь, живот. Серые хлопья пены шлепаются на кафель. Неожиданно Славка вырывается, выскакивает в коридор. Перепуганный дежурный офицер спрашивает:

– Что такое? Что с вами?

– Не знаю, товарищ капитан, – мычит Филипцев, – с утра знобило, а потом пена пошла... Видимо, холера.

Славка увлекался странноватыми “исследованиями”. Во время морской практики, когда мы стояли на рейде Таллина и никто не знал, будет ли увольнение на берег, Славка проделал такой эксперимент: на корме он запускал слух, что увольнение будет, но только для отличников боевой и политической подготовки, бежал с секундометром в нос учебного корабля и засекал время. Таким образом он узнавал, с какой скоростью на “Комсомольце” распространяются слухи. Как-то во время большой приборки он высыпал в носовом галюне целый барабан хлорки. Его интересовало, кто и как выругается, оказавшись в отравленной атмосфере. Я храню мятый пожелтевший листок со статистическими изысканиями Филипцева. Приведу его полностью:

“За три курсантских года было получено 671 письмо, написано 329, изношено 6 пар ботинок, в нарядах и караулах потеряно 2704 часа, от Рузовской казармы до камбуза пройдено 1314 километров, по лестницам в аудитории мы поднялись на высоту 27 километров, исписано 4 литра чернил, выкурено 13140 сигарет, трехгодовой диурез равен 1643 литрам, 2200 раз сказано слово “есть”, один раз – “больше не буду”, на вечерних поверках потеряно 130 часов, спето 60 строевых песен, получено 108 кусков мыла.

За три года женилось 14 человек, сдано 20 экзаменов, съедено 6570 килограммов хлеба, на каждого курсанта приходится 0,3 лампочки, 0,12 портретов вождей. На курсе 2 пианиста, 1 скрипач, 4 поэта, 2 прозаика, 1 фоккусник...”

Отец у Славки погиб в сорок первом, тянула его мать, швея. После второго курса, возвращаясь из отпуска, я побывал в коммунальной квартире на Якиманке, где родился и вырос Славка. Коммуналка запомнилась смутно: коридоры, коридорчики, огромная закопченная кухня, на которой вперемежку стояли газовые плиты и кухонные столы. На одной из плит матушка Филипцева добрейшая Александра Петровна обычно варила в чайнике кофе.

...Когда я переступил порог Рузовки, на меня пахло неистребимыми запахами казармы – гуталина, хлорки и ещё чем-то мерзким, клопомором, что ли. Наш полуподвал в здании бывшей Обуховской больницы и то выглядел уютней. Огромный гулкий коридор, в котором можно было выстроить роту в полном составе, пирамиды с оружием, столик для дежурного по курсу, доска с убранными под плексиглас разными мудрыми инструкциями, двери, ведущие в кубрики, пустые пока вешалки для бушлатов и шинелей, и в самой глубине – гимнастические снаряды, похожие на орудия пыток.

Нам с Шурой Орловым досталась двухъярусная койка, третья от окна – это уже удача, в окно наверняка будет дуть зимой. Бросили пальцы на “морского”, мне выпал верхний ярус, ему нижний. С Орловым я подружился ещё во время лагерных сборов. Небольшого роста, этакий французик с аристократическим носом с горбинкой и скрыто-надменными глазами. Прозвище – Моржик, приехал из Североморска, отец полковник, занимающий высокую должность. Шура не переносит мата, болезненно чистоплотен, бреется по два раза в день, в тумбочке у него такой порядок, что старшины в неё и не заглядывают. Он постоянно рисует и что-то записывает бисерным почерком в записную книжечку. Шура много читает, хорошо знает живопись. С ним интересно. Но есть в нём что-то незавершенное, не определившееся, что ли.

Я уже на первом курсе твердо знал, что стану эпидемиологом или бактериологом. Шура только пожимал плечами.

После выпуска Кравченко и Орлов укатили на Тихоокеанский флот, я – на Черноморский. С Шурой мы встретились лишь через двенадцать лет в Москве. Служба у него не пошла. Уволившись, он стал цирковым врачом, много ездил по разным странам, с годами наши отношения постепенно охладели – разные интересы, разные взгляды на жизнь, но мы так и остались верны традициям курсантского братства.

Рузовка встретила нас сурово. Разом погас смех. Уже никого не тянуло рассказывать отпускные байки, да и время как-то сжалось – ни одной свободной минуты. Ермилов построил нас в коридоре и суховаато сказал:

– Даю час на то, чтобы сдать в баталёрку рюкзаки, чемоданы и привести себя в порядок: умыться, побриться. Через час – построение, начальник курса представит вам нового командира роты. Вопросы?

На этот раз даже у Филиппцева не хватило духу задать вопрос. В казарменном воздухе витало нечто такое, что подавляло волю.

Новый командир роты майор Руденко сразу не понравился. Среднего роста, но какой-то массивный, с тяжёлым, исподлобья взглядом бесцветных глаз, с налитой красной шеей и несоразмерно маленькими стопами, обутыми в хромовые ботиночки.

– Сапог, – припечатал Толя Соловьёв.

– Вот-вот, он из нас сопли-то выдавит, – хмуро добавил Володя Тюленев. – Одним словом – Рудос.

Прозвище состоялось. Рядом с майором начальник курса подполковник медслужбы Ревенко выглядел аристократом из иных времён – стройный, в превосходно сшитой тужурке. Белая накрахмаленная рубашка оттеняла загорелое, с тонкими чертами лицо.

– Здрас, тащи курсанты! – ухнул майор Руденко.

Рота ответила в той же тональности:

– Здрав желам, тащъ майор!

Помнится, никто тогда не обратил внимания на солидную колодку орденов и медалей на кителе командира роты. И тут в чисто вымытые окна ударило солнце, разом преобразив казарменный коридор, – словно улыбка скользнула по суровому, жёсткому лицу. Рузовка приняла нас, взяла под своё покровительство. И еще откуда-то пахнуло одеколоном “Шипр”, и этот запах на долгие годы станет для меня добрым предзнаменованием, что всё в конце концов наладится и что жизнь не такая уж скверная штука.

...Прошлым летом, раздираемый недовольством собой, я на даче жёл в железной бочке рукописи, черновики, газеты с ранними публикациями. Огонь с вожделием пожирал бумажный хлам. И тут из пачки с рукописями, перевязанной бельевой верёвкой, выпала тетрадь в облезлой бледно-голубой обложке с торопливыми дневниковыми записями. Я не открывал её более пятидесяти лет. С какой-то смутной надеждой я возил тетрадь с собой с одного флота на другой, с квартиры на квартиру, пока она не упокоилась в архиве. Я уселся на чурбан для рубки дров и стал читать – неплохие чернила для авторучек делали в те времена, за полвека скитаний буквы не поблёкли, текст читался свободно. Вскоре я понял, что записи не имеют ни информационной, ни тем более литературной ценности. Так, эмоциональные юношеские зарисовки. К тому же автор писал с оглядкой на то, что дневник её прочесть кто-то посторонний. Но произошло нечто, похожее на чудо. Между мной и тетрадью проскочил мощный электрический разряд, возрождая целый пласт воспоминаний. И тотчас нашлось объяснение, почему я хочу вернуться в казарму на Рузовской улице. Там, на Рузовке, в курсантской купели закалялись, огранивались наши характеры, всё, что происходило потом, было лишь развитием сложного и мучительного процесса вызревания души.

Меня до сих пор поражает мудрость начальства. С удивительной точностью оно выбирало из разношерстной массы новобранцев тех, кто может командовать людьми, то есть старшин, младших командиров. Но случались и сбои. Старшиной первой роты назначили Гайдамовича. Он закончил фельдшерское училище, успел поработать в поселковой больничке и оттрубить срочную в лесной белорусской глухомани. Я помню его в армейских шмотках с сержантскими лычками.

Гайдамович впитал в себя всё худшее, что было в сухопутных войсках. О “дедовщине” тогда ещё не слышали, но “деды”, в отличие от флота, уже были. Крупный, носатый, со скрипучим голосом, он с какой-то садистской изобретательностью гонял первую роту, наказывал за пустяки, издевался над вчерашними десятиклассниками и всячески пакостил. А ведь был самый трудный период – лагерные сборы, где мы проходили курс молодого бойца. За что он так ненавидел ребят, особенно городских, не знаю. Платили ему той же монетой.

Нам-то повезло, старшиной второй роты назначили Николая Ермилова – старшину первой статьи с линкора “Октябрьская революция”, человека жёсткого, но справедливого.

Господь покарал Гайдамовича. Дежурный офицер застал его в тот момент, когда он развлекался с дородной поварихой в овощехранилище на мешках с картошкой. Разводящий караула, обходя посты, засёк сержанта во время любовных утех. Будь это кто другой, он бы не поднял шума, но Гайдамович уже у многих стоял костью поперек горла. Доклад дежурному офицеру поступил незамедлительно. Сержанта разжаловали в рядовые, и он оказался в нашей роте. Я тогда впервые осознал всю тяжесть бойкота. Гайдамович перестал физически существовать для курсантов. Разжалованный сержант притих, но по его злым взглядам можно было судить, что он затаил обиду и ищет повод отомстить.

Во время лагерных сборов нашим отделением командовал старший матрос Владимир Шупаков, сероглазый улыбчивый красавец. Мы – салаги носили грибовидные бескозырки без ленточек (ленточки появились после принятия присяги), отделенный отслужил на кораблях Балтики три года, посему красовался в лихой “беске”, на ленте которой золотом было тиснуто “Балтийский флот”. Нас оболванили под “ноль”, я с изумлением разглядывал шишковатые черепа товарищей и старался как можно реже смотреть на себя в зеркало, Шупакову как старослужащему сохранили шевелюру – его густые светлые волосы отливали мёдом. Володю совсем не портили две золотые коронки на передних резцах. Он играл на гитаре и пел. У него был превосходный баритон, и он вполне мог стать профессиональным певцом. Стоит ли говорить, что все мы были по-мальчишески влюблены в нашего командира отделения. К тому же Володя в отличие от других старшин редко повышал голос, и я не помню случая, чтобы он кого-то наказывал.

После третьего курса Володя исчез, его отчислили из академии по неведомой мне причине.

... Весной шестьдесят первого года в конце перегона подводной лодки по внутренним судоходным путям из Сормово в Северодвинск я схватил двусторонний гайморит, меня комиссовали и направили служить в дивизион ремонтирующихся и резервных кораблей, сокращенно ДРПК, а в просторечии “Дырка”. Дивизион размещался на острове Ягры и представлял собой довольно странное соединение. Часть кораблей стояла в ремонте на СРЗ “Звёздочка”, часть – на стапелях в законсервированном виде. К “Дырке” был также приписан плавающий дивизион торпедных катеров и кораблей-целей. Штаб дивизиона располагался в доме, где раньше обитала администрация лагеря политических заключенных, неподалеку кладбище эзков, превращённое в стрельбище. Вот такая весёлая картина. Меня тотчас сделали штатным начальником по физкультуре и спорту и гарнизонным врачом острова Ягры. Тогда мне пришлось изрядно повертеться...

Как-то меня вызвал комдив Владимир Михайлович Ручко и сказал, что мне надлежит провести беседу с выпускниками медицинских институтов, призванными на флот. Поступило указание из политотдела базы. У меня с комдивом установились хорошие отношения. Я тренировал сборную Беломорской базы по боксу, и мы дважды выиграли кубок Северного флота. А Ручко был страстным болельщиком.

– Какую беседу? – удивился я.

Комдив усмехнулся:

– О том, как хорошо докторам служить на флоте.

– И где все это будет происходить?

– На “СС-18”. Кажется, писатель ошвартован у двадцать пятого причала.

– Так туда же пехать и пехать. Да в дождь. У меня будет нетоварный вид.

– Возьми мою машину.

И вот там, в плохо освещённом кормовом кубрике спасательного судна я среди молодых врачей-новобранцев и увидел Володю Шупакова. Точнее, не его, а его неподражаемую улыбку. После окончания медицинского института он вернулся на флот, служил на атомной подводной лодке и завершил службу начальником базового госпиталя.

Запомнился ещё один младший командир – помкомвзвода старшекурсник Михаил Бачев. Бледный, с тонким, заострённым носом, белёсыми ресницами, он походил на одну из кукол Образцова. За неказистой внешностью сразу угадывался человек мягкий и добрый. Спал он в нашем кубрике в полуподвальном помещении бывшей Обуховской больницы.

Что говорить, добротой его пользовались, но старались не подвести.

Бачев терпеть не мог строевых занятий. “На кой ляд докторам муштра?” – вслух удивлялся он. Помаршировав для виду, мы уходили в глубину больничного парка, где виселись поленницы дров, кто-то курил, кто-то рассказывал анекдоты. Зато уж на строевых смотрах взвод маршировал, как на параде. И Рудос кричал от удовольствия.

По утрам, когда особенно хочется спать, тишину взрывает свист боцманской дудки. Погода испортилась, резко похолодало, второй день идёт дождь. Больничный парк как-то разом пожелтел, словно заболел инфекционной желтухой, листья на боярышнике облетели, обнажая ягоды, на которых висели янтарные капли. Единственное тёплое и сухое место – караульное помещение. Там топится настоящая печка, пахнет дымком, сухо потрескивают дрова. Четыре часа сна – и снова на пост. Шура Орлов перешёл на тёплые носки. Перед тем как надеть, он тщательно их исследует, прощупывая каждый сантиметр. Для этого есть некоторые основания. На первом курсе как-то после обеда, собираясь поспать в “адмиральский час”, я обратил внимание на его носки. Они были в такой степени заношенности, что стояли рядом с ботинками, напоминая мягкие полусапожки. Пристяжные резинки (их носили в то время) уныло свисали с голенищ. Меня это позабавило. Я достал из тумбочки пуговицу от суконки и пришил ее снаружи на пятку носка. Не успел прилечь на койку, как дневальный, свистнув в боцманскую дудку, дурашливо заорал: “Подъём! Команде вставать, койки убрать!” Шура свесил с койки толстенные ножки, натянул носки и сунул стопы в яловые ботинки. Сонная задумчивость мгновенно слетела с его лица, он прищурился, словно выслеживая мышь, стянул ботинок, вытряхнул его и вновь надел. Пуговица была пришита крепко. У Шуры порозовел нос, он снял ботинок, затем носок и тщательно изучил его изнутри – никакого инородного тела. Когда он вновь обулся, на лице его застыло такое изумление, словно он увидел доисторического ящера. Я корчился от смеха. Снял ботинок, Орлов хмыкнул, достал ножницы и отпорол пуговицу. Покосившись на меня, тихо сказал: “Брандахлыст, запомни: месья моя будет страшна!”

Война прервала наше детство, нам было не до шалостей. Строгая мужская школа, где во дворе мы маршировали с деревянными винтовками, затем закрытое военное учебное заведение. Мы так и остались мальчишками. И склонность к шалостям держалась в нас дольше, чем в ровесниках, вплотную не соприкоснувшихся с войной.

Отошли, скользнули видением за горизонт первый отпуск и первая морская практика. Грянула опостылевшая “бирочная компания”, когда к шмоткам пришивали бирки с именем владельца. Постепенно всё улеглось, встало на свои места или, как говорил Славка Филиппцев, “устаканилось”. Даже Рудос не вызывал прежнего раздражения, его словесные перлы гуляли по ротам, как анекдоты. Особой популярностью пользовались два его изречения: “Эй, вы, трое, оба ко мне!”, “Какие вы будущие врачи, кола параллельно земле вбить не можете!”

Прохаживаясь по коридору, майор Руденко ронял перед вытянувшейся по стойке “смирно” ротой тяжёлые, как поленницы дров, слова:

– Вчера имело место явление гастролирования по карнизу крыши в кальсонах. Вы академия или кто? Безобразия нарушаете? Сигналы от граждан поступают под разным соусом...

“Гастролирование по карнизу в кальсонах” и в самом деле имело место. Кто-то из курсантов ночью проник на чердак, выбрался на крышу через слу-

ховое окно и стал прогуливаться по карнизу, изображая лунатика. Соседи звали наряд милиции, но злоумышленника так и не нашли.

На третьем курсе посыпались женитьбы, то один жених, то другой, со-брав нехитрый курсантский скарб, отправлялся к новому месту жительства. По поводу ранних женитьб Рудос хмуро изрёк:

– Тут явления наметились со стороны гражданских лиц женского пола. Об-лава на женишков. И уж многих умыкнули. Плохо дело, товарищи курсанты. Молодая баба, да задорная – прямой подрыв боеготовности под разным со-усом. Женилки до колен отрастили, а ум детский, вот вас и берут на живца.

Во время лагерных сборов командиром роты был у нас капитан второго ранга Запорожец, человек мягкий, нерешительный, без каких-либо отличи-тельных черт – я теперь его и вспомнить не могу, а вот Рудоса запомнил.

Уверен, что все эти словечки командира роты, нарочитая армейская нео-тёсанность – своеобразная маска. Руденко, человек малообразованный, но добрый, таким вот способом готовил нас к флотской службе, где нередко приходилось иметь дело с командирами, особенно из тыловиков, пользующи-мися такой же лексикой. Вечерние проверки, проводимые Руденко, мы жда-ли, как небольшой спектакль.

– Сколько раз талдычу вам в лоб и в разные места – всё мимо. Я вам где? Филиппцев, равняйся, как сказано!

– Я равняюсь на половую щель, товарищ майор! Ну, там, где доски схо-дятся...

– Разговорчики в строю! Ты не на эту щель равняйся, а на грудь справа стоящего курсанта! Кто о чём, а вшивый о бане.

Занятно, но командир первой роты подполковник Андреев мне тоже не запомнился. Разве что застряла в памяти одна черта – он не любил удержи-ваться в ротных помещениях.

В Ленкомнате или в одном из кубриков нередко разыгрывались скетчи, в которых использовались наиболее крылатые выражения Рудоса. Но с огляд-кой – его побаивались и уважали. А вот начальник курса подполковник Ревен-ко Павел Григорьевич пользовался всеобщим расположением, хотя был крут и схлопотать от него “месяц без берега”, а то и пятерик на губе, как говори-ли в курсантской среде, что два пальца... Причина проста: Паша (так курсан-ты называли Ревенко) был в высшей степени справедлив, незлопамятен и всегда защищал своих выкорышек от начальства. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха.

Как-то перед ужином меня неожиданно вызвал к себе начальник курса. Я шёл, недоумевая, зачем я понадобился Паше, за мной вроде бы ничего тако-го не числилось.

Ревенко был хмур, слегка прихрамывая (ранение на фронте), прохаживал-ся по своему крошечному кабинету. Я доложил о прибытии и застыл у дверей.

Павел Григорьевич остановился и, пожав плечами, сказал:

– Не ожидал от тебя, не ожидал. Хороший курсант, спортсмен, чемпи-он... Ладно, я тебя не накажу, если скажешь, с кем играешь в преферанс на чердаке.

Я был настолько поражён, что, наверное, с минуту молчал, потом брякнул:

– Преферанс на чердаке? Товарищ подполковник, да я карточных мастей не знаю, а тут такое...

Паша густо покраснел и тихо, переходя на шепот, произнёс:

– Пять суток с содержанием на гарнизонной гауптвахте. За враньё и ук-рывательство подельников.

Откуда мне было знать, что Ревенко страстный преферансист, и заявле-ние о том, что я, девятнадцатилетний болван, не знаю карточных мастей, он принял за издевательство.

У меня, как при нокдауне, поплыла стена с картой Советского Союза.

– Разрешите идти?

– Иди. И не забудь пройти медкомиссию.

В коридоре меня захлестнула обида, даже скулы свело. Игорь Кравчен-ко, стоящий дневальным по роте, глянув на меня, спросил:

– Что с тобой? На тебе лица нет.

– Пятерик схватил... с содержанием.

– За что?

– За преферанс. На чердаке я, видите ли, играю. С поделеньниками.
– Да ты же в карты ни бум-бум.
– Начальству виднее.
– Не переживай, Томас Манн сказал: “Чтобы стать писателем, надо обжиться в каком-нибудь исправительном заведении”.

Сам Игорь, уже не помню за что, на первом курсе отсидел пятерик на губе, что на Садовой улице. И как следствие – цикл любовной лирики!

Весть о том, что Паша упёк меня на пять суток, мгновенно облетела роты. Ко мне подходили, жали руку, поздравляли с боевым крещением. Филиппцев, частый посетитель исправительного заведения, дал мне подробную инструкцию, как вести себя в камере, как представиться сидельцам, как закосить температуру и перебраться в лазарет.

– Хорошо, если пошлют работать в архив. Бабы там – огонь! Это от соприкосновения с героическим прошлым. Идут на тебя гренадёрским строем. В случае чего прикинись припадочным. Или ночное недержание у тебя...

– Славка, я ведь и в морду могу дать.

– Опять ты за своё. На губе не геройствуй, не при, как слон на буфет. Особенно с Мойдодыром.

– Кто это?

– Старшина губешника. Мойдодыр спрашивает меня однажды: “Спички, сигареты есть?” – Я ему: “Так точно, спрятаны в анальном отверстии, сразу за сфинктером!” Мойдодыр, понятное дело, не знает, где это. Добавили мне двое суток за оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей.

А я купался в обиде. Когда ты невиновен и страдаешь по чьему-то навету, обида особенно сладостна. Я представлял себя то генералом Карбышевым, которого фашисты на морозе обливают водой, то Достоевским, ждущим казни.

Перед посадкой меня опять выдернули к начальнику курса. Старшина роты Ермилов остался в приёмной с документами об арестовании. На этот раз Павел Григорьевич встретил меня с улыбкой. Я четко доложил:

– К следованию на гарнизонную гауптвахту готов.

– Садись.

– Спасибо, я постою. – Я себе в этот момент очень нравился: холодный тон, непоколебимая уверенность в своей правоте. Хорошо бы сейчас умереть. Упасть бы у стола и... вот шуму-то будет.

– Я тебя вызвал, чтобы извиниться. Осечка вышла. Перепутали тебя с Русланом Годиновым. Намудрил информатор в темноте. Руслан – симулянт известный, отсиживался в лазарете, а как узнал, что тебя, невиновного, сажают, прибежал в больничном халате и повинился. Он на чердаке карточный притон устроил. Разогнал я эту малину. Ещё раз извини и не держи зла. – Паша пожал мне руку и с усмешкой добавил: – А игру в преферанс всё же оставь. А то чем ты на флоте заниматься будешь?

Ах, Паша, Паша! Добрейшая душа. Пестовал нас по-отцовски, сурово, мы – дети войны были обделены мужским вниманием, сплошь безотцовщина. Он, да и все воспитатели, включая Рудоса, готовили нас к сложной жизни, тяжелой морской службе. За это низкий вам поклон.

...Повседневная жизнь, рутина. Лекции, семинары, практические занятия. После блуждания по морским просторам и ароматного юга запахи анатомички пришибли меня. На мраморных столах анатомического зала лежали распотрошенные во время препарирования трупы, в белых кюветах органы: почки, печень, гениталии. В препараторской, в стеклянных банках скалились жмурики. Одни головы в формалине. А ведь когда-то эти головы улыбались, глаза излучали свет. Любовь, счастье, удача и... финал. Курсант Женя Анохин поспорил с приятелем, что укусит труп за нос. И укусил. Цинизм спасает медиков от страха перед смертью.

Реорганизация курса ограничилась сменой командиров рот. Игорь Кравченко остался в первой роте. Дружит с Витькой Подоляном. Витька типичный профессорский сынок, узкоплечий, с пухлым, немощным телом, военную службу переносит с трудом, старшины не дают ему поблажек – таково требование отца. Зато Виктор превосходный пианист. Второй пианист Виталька Бердышев – классом ниже, но всё равно и у него получается здорово. Я ни

черта не смыслю в музыке, но когда слышу скерцо Шопена в исполнении Подяна, у меня что-то обрывается внутри, и я вижу фрагменты картин: сады на окраине Краснодара, густой подлесок на острове посреди реки в паводок, слышу мелодичное посвистывание ветра в камышах, что растут в заводях Старой Кубани. Иногда вижу маму, и тогда к горлу подкатывает ком и влажнеют глаза. Наверное, подлинники ценители музыки испытывают нечто иное, чем я, провинциал, только в Ленинграде впервые попавший на концерт классической музыки в филармонии.

Игорю сейчас не до меня. У него полный разрыв с Ниной. Он потрясён, но держится. Именно в это время Игорь стал писать настоящие, взрослые стихи.

После выпуска из академии его направили служить на Тихоокеанский флот, там он ухитрился настолько достать кадровика, что тот упёк его в военно-строительный отряд, расположенный в таёжной глубинке. Сосны, белки, снег по пояс, весной сопки в пламени цветущего багульника, затем Владивосток, остров Русский, Камчатка, Авачинская бухта, сверкающие на солнце вулканы, Паратунька, Долина гейзеров. Поэту незачем было собирать материал, он жил в нём, с каждой новой книгой набирая уверенность и силу.

Сейчас, когда жизнь, в сущности, прожита, я могу с уверенностью сказать, что едва ли найдутся еще два-три человека, которые оказали на меня такое влияние, как Игорь. Мы ровесники, но в те далёкие годы он всегда был немного старше меня. Во мне слишком долго держалась полудетская наивность. Не будь Игоря, я вряд ли стал бы профессиональным литератором. О моих сомнениях на этот счёт немало записей в той самой голубой тетради. Кажется, Чехов сказал, что очень хорошо начать плохо. Что-то в этом роде. Я начинал настолько плохо, что нормальный человек давно бы бросил это пустое занятие. Да и карьера у меня складывалась вполне удачно. Зачем попусту портить бумагу?

Зимой 1967 года я сжёг рукописи и решил серьезно заняться наукой. Для этого были все условия: превосходно оборудованная лаборатория в санэпидотряде, тема диссертации, солидный руководитель. Я сходу сдал часть экзаменов на кандидатский минимум, а в начале мая прилетел в Северодвинск Игорь. Группа молодых поэтов после совещания в Москве разъехалась по стране. Кравченко выбрал Север, чтобы повидаться со мной. У него уже готовилась к печати вторая книга со вступительной статьей Павла Антокольского. Мой друг был на подъёме, выступал в клубах, Доме офицеров флота, студенческих общежитиях, и везде его встречали громом аплодисментов. Он принёс с собой в наш северный город дыхание океана, простора, какой-то иной жизни. “Тебе нужно встряхнуться, — сказал он, — приезжай ко мне, во Владивосток. Это другая страна, другие масштабы”.

Через год я вылетел во Владивосток и пережил ощущение, которое испытывает молодой матрос, вперёдсмотрящий на корабле — захлебнулся от вольного ветра.

Владивосток конца шестидесятых! Меня поразила сама страна — с белыми свечами многоэтажек на сопках, со сверкающей голубизной бухтой Золотой Рог, с центральной бесконечной улицей Ленина, по старинке называемой Светланкой, с бриннеровскими домами (вспомним знаменитого голливудского актёра Юла Бриннера — дома принадлежали его семье), таинственной Змеинкой и кораблём-памятником у причала.

Многоэтажная конструкция города то ввинчивалась вверх, забираясь на рыжие сопки, то соскальзывала вниз, в распадки, и случалось так, что прогуливаясь по скошенному тротуару неподалеку от центра, вы могли заглянуть в окно третьего этажа застывшего ниже дома. И всё это было соединено мостами и мосточками, арками, за которыми открывались узкие переходы, внезапно ныряющие в тупики. Ещё сохранилась Корейская слобода, где среди новостроек крепенькими грибами прорастали фанзы с иероглифами на ставнях.

Владивостоку вообще не свойственны прямые линии, но меня как-то особенно поразила Китайская улица, взбирающаяся вверх, к основанию сопки. Однажды по этой улице с невероятным грохотом скатился на коляске с мороженым друг Игоря известный поэт Илья Фаликов. В городе об этом рассказывали с удовольствием и даже с гордостью, как о некой достопримечательности.

Во Владивостоке любили поэтов, актеров и авантюристов и вообще всё нестандартное.

Обилие воды, чайки, простор, солнце, тёплые дожди и каждый день неожиданные встречи – вот впечатления первых дней.

Утром, наскоро перекусив, мы с детским топотом скатывались по крутым лестницам-трапам мыса Диомид к причалу, садились на катер и через полчаса оказывались на тридцать шестом причале, в самом центре Владивостока. После плоского, уныло-болотного, серо-деревянного Северодвинска замечательный приморский город выглядел чем-то вроде Сан-Франциско или Рио-де-Жанейро. И обитатели Владивостока были ему под стать.

В той поездке я осознал, что означает слава. Игоря узнавали на улицах. Мы беспрепятственно проходили в молодёжные кафе, хотя там у входа стояли очереди. Вскоре друзья Кравченко отправили нас в составе съёмочной группы на острова Римского-Корсакова. Телевизионщики снимали фильм “Изобата-50” о погибшей шхуне “Восток”, описанной ещё Гончаровым. Потом мы оказались на острове Попова, выступали перед рыбаками, жили в доме старого шкипера, ловили трепангов, бродили по острову, где росли лопухи в человеческий рост, а плоды шиповника были величиной с яблоко, подружился с молодыми учительницами, ходили ночью купаться. Вода фосфоресцировала, и было жутковато, когда рядом всплескивала крупная рыба. Как-то во время путешествия вдоль ручья, стекающего в море, набрали на островок, сплошь усеянный махонами. Когда бабочки шевелили крыльями, казалось, островок вспыхивает радужным пламенем. Это был какой-то другой, сказочный мир.

Дружить с Игорем непросто. Он яростный спорщик и в споре может обидеть. Спорили мы до хрипоты, часто ссорились, как-то по нелепому поводу два года не переписывались, не звонили друг другу. Но потом всё забылось. А сейчас чего уж нам делить, когда жизнь катится под уклон, и звук бубенцов всё глуше и глуше. Я держал на руках его сыновей, из которых выросли славные мужики, крепкие и надёжные. И жена Игоря иногда ворчит на меня так же, как и на мужа.

Мы – два хрупких сосуда, в которых бережно хранится память о прожитых годах.

...Задолбала химия: физколлоидная, неорганическая, органическая. Практические занятия, коллоквиумы, зачёты. Преподаватели – одни женщины, а женщины – существа безжалостные. “Неуды” так и сыпались на бедные курсантские головы, и как результат – неувольнение в город. А город манил, подмигивал огнями, и сны снились – товарищам рассказать неловко. Я жил вольготней. Три тренировки в неделю, две – в академическом спортивном зале и ещё одна, в субботу, в боксерском зале Ленинградского дома офицеров. В академическом зале у меня практически не было противников в моём весе для спарринга, боксировал в основном со средневесом, матросом кадровой команды Братановским, перворазрядником. Тренировки в ЛДО носили ещё более жёсткий характер. Тренировалась сборная Ленинградского гарнизона, и паренки там были крепкие. Суббота – день увольнения. Но куда пойдёшь, если под глазом фингал, брови посечены и залеплены пластырем. С такой рожей патруль заметет, да и в милицию можно загреметь. В казарме меня с надеждой ждали различного рода страдальцы: заступи дневальным, подмени в пожарном отделении или в группе по борьбе с наводнениями. Был ещё один идиотический наряд: ходить в патруле по территории академии.

Но всё это терпимые, незначительные издержки. Бокс научил меня держать удар, а это важнее.

С теплотой вспоминаю своего тренера Леонида Павловича Кривоноса.

Краснодар. Мартовский денек с голубыми в розовом небе, с запахами первой зелени, и человек лет сорока в модном плаще, узких брюках и туфлях на каучуковой подошве – редкость по тем временам. Принять его можно было за приезжего артиста.

Я толкнул Толю Лагетко в бок:

– Гляди, какой фраерок чапает.

– А знаешь, кто это? Новый тренер Кривонос. Будет в юношеской спортивной школе вести секцию бокса.

– Кроме шуток?

– Точно, он.

Кривонос мне тогда не понравился. Пижон, а не тренер.

Между тем через месяц в подвальном помещении юношеской спортивной

школы был оборудован настоящий боксёрский зал. И ринг, и “груши”, и шведская стенка. Даже новая штанга стояла в углу на помосте.

Охотников заняться боксом нашлось много. Компания в подвале собралась пестрая. Кожзаводы, Дубинка, Покровка – самые буйные в те годы районы – направили своих “лучших” представителей. Даже известный всему городу Хачик явился поглядеть на нового тренера, а заодно и поучиться. “Рыцари” улиц и привокзальных переулков стояли в мятых трусах до колен и скалились. Кривонос оглядел всех внимательно, сказал:

– Ну что же, занятия начнём с того, что будем учиться ходить.

Пацаны, удивленные услышанным, хохотнули, а кто-то озадаченно ма-тюгнулся.

– Стоп! – Кривонос поднял руку, призывая к вниманию. – Вот что, соколики, если хоть раз от кого-нибудь услышу матерное слово – выгону. Прошу усвоить.

Дальше пацаны, к чьей походке по вечерам с тревогой прислушивались горожане, действительно учились ходить, то на пятках, то на носках и даже прыгали по-жабьи, разве что не квакали. Боксом и не пахло. Тренер излучал неясное обаяние, да и любопытно было, чем вся эта канитель закончится, поэтому ходили “соколики” и дрыгали ногами с большим удовольствием. Прыжки особенно удавались Хачику. Потому как по основной своей воровской профессии он был “скокарём”. И на ногах у Хачика были новенькие боксёрки. Боксёрки не помогли, через неделю Кривонос выставил его за дверь – Хачик оскорбил уборщицу.

– Хачатуров, на тренировки больше не ходите. Спорт – прежде всего дисциплина, а вы хулиган.

Повисла жуткая пауза. Хачик был человеком опасным. К тому же “хулиган” у воров – тяжкое оскорбление. Хулиганов они не жалуют. Все замерли в предчувствии страшного. Но ничего страшного не произошло. Хачик даже улыбнулся, кивнул снисходительно.

– Ладно, пляшите тут... Ты только не духарись, Ленпалыч. Духариться не нужно.

Поговаривали, что Хачик утвердил:

– Ленпалыча не трогать. Он полезный.

Как и почему сделал такой вывод удачливый “скокарь” – неведомо. Мир, к которому он принадлежал, имел свою мораль, и разобраться в ней было не просто.

Тренировки между тем шли своим чередом, мало-помалу захватывая ребят, хотя число их и поубавилось. Тренировки Кривонос начинал с беседы. Рассказывать он умел, знал про бокс много, так что публика сидела с открытыми ртами. Разговор иногда отклонялся от темы и шёл просто “за жизнь”. Взрывной характер бесед я понял позже, когда уличное хулиганье ходило за Ленпалычем ватагой. Носители челок и фикс стали даже на пробор зачесываться, под Кривоноса, и если не бросали курить, то курили, прячась в туалете, как второклассники.

Тренировки обрели смысл, появились новенькие перчатки, “лапы”, и вскоре все поняли, что бокс не драка, а спорт – культурный и героический. Оказалось, расквасить нос дело никчемное, важно работать так, чтобы не получать ударов, маневрировать, и если уж бить, то наверняка и точно. В трусах до колен на тренировки уже никто не ходил. Однажды Кривонос принес ножницы, нитки и дал еще один урок, теперь уже портняжничества. Из обычных трусов за час сотворил настоящие боксерские трусики с тройной резинкой, объяснив при этом: “По тому, как сидит форма на боксере, можно судить и о его подготовке...”

Матери, наверное, до чрезвычайности удивились, когда шалопутные их сыновья, разгильдяи и неряхи, потянулись к швейным машинкам и утюгам. Факт небывалый и даже пугающий. Но было всё это так, между прочим. Основное всё-таки бокс. Уверенно управляя сырой пока ещё боксерской массой, Кривонос находил время для каждого, выбирал момент. Мне он сказал: “У тебя неплохие данные. Только тебя нужно переделать... Встань фронтальной. Вот так. Подбородочек ниже. Ноги широко не расставляй, потеряешь манёвренность. Твоё оружие – скорость, реакция. Работай в “челночке”. И думай, думай в ринге, переигрывай противника головой”. И полгода не прошло, как на открытом ринге я выиграл свой первый бой.

Леонид Павлович Кривонос вырастил двух олимпийцев: бронзового призёра Толю Лагетко и серебряного – Юру Радоняка, который несколько лет тренировал сборную СССР.

Иногда мне казалось, что Рузовка – живое существо, и оно не только хранит память о прежних обитателях, но и может влиять на судьбы ныне живущих в старой казарме. Мне снились фантастические сны. То я видел лейб-гвардейцев-семёновцев, повзводно марширующих по улице Рузовской. Вглядываясь в лица солдат, узнавал в усачах своих однокашников. То я летел на воздушном шаре, вцепившись в борт корзины, и, холодея от ужаса, глядел вниз на Витебский вокзал, от которого отходил детский паровозик с длинной трубой, слышал скрип и позвякивание буферов игрушечных вагончиков, покрашенных в жёлтый цвет. Я просыпался в кубрике, освещённом тусклым синим светом, с тревогой глядел в окна, за которыми гудел дождь. А казарма дышала. Кто-то тёмный, на мягких лапах бесшумно ходил между койками и поправлял сползшие со спящих курсантов одеяла.

Рузовка дарила нам несколько минут перед сном, заполнив их рассказами товарищей, – предтеча будущего кают-компанейского трепа. Чаще всего вспоминали детство – оно было рядом. Особенно удавались рассказы эстонцу Лео Сусину, низкорослому белокрысому пареньку. Лео – сирота, воспитывала его тетка. Тетку он наделил множеством фантастических качеств, и судьба у неё была героическая: то она была партизанкой, то входила в группу снайперов, которым было поручено совершить покушение на Гитлера. Как-то Лео заврался настолько, что сообщил, будто его тётка, прошедшая специальную подготовку, могла присесть на корточки и с этой позиции запрыгнуть на платяной шкаф. Кубрик взорвался таким хохотом, что прибежал дежурный офицер.

Студенческий Ленинград между тем оживал, то в одном, то в другом институте устраивали танцевальные вечера, балы. На тумбочке у столика дежурного офицера лежали пригласительные билеты. А у меня субботние тренировки. Помог случай.

Как-то на тренировке появился чемпион страны во втором среднем весе заслуженный мастер спорта Вазин, крепко скроенный качок с нокаутирующим ударом справа. Чемпион начал подготовку к первенству СССР. Тренер отобрал десять полусредневесов, или, как их ещё называли, “петухов”: отработал раунд, тебя сменяет другой. “Петухи” – боксёры скоростные, да и с ударчиком. Я попал в десятку боксёров для партер-спаррингов.

На второй тренировке я заметил, что Вазин при ударе левой опускает правую руку. Подбородочек у него был приметный, с ямкой посередине. Вот я и врезал левым боковым по этой самой ямке. И, не давая чемпиону опомниться, добавил левым прямым. На следующей тренировке я, окончательно обнаглев, решил повторить комбинацию. И тут почему-то погас свет. В себя я пришёл в раздевалке, рядом суетился врач, в углу тренер крыл матом Вазина, тот сконфуженно кивал головой, а мне казалось, что я не лежу на кушетке, а как бы завис в воздухе. Нокаут – дело серьезное. Неделю провалялся в лазарете. Меня на три месяца отстранили от тренировок. Зато я мог ходить в увольнение и на танцы.

Никогда не вернуть тот удивительный вечер с игольчатыми уколами дождя, плывущими в сумерках огнями реклам, фонарями, опрокинутыми в черную воду Фонтанки. Академия арендовала у какой-то организации танцевальный зал. Старинный особняк за чугунной оградой, мрамор фойе, запах духов, женские голоса. И тут я увидел Валентину. Девушка скромно стояла у колонны, прижимая к груди дешевую сумочку, и, судя по выражению лица, чувствовала себе неуверенно. Я вытер лицо платком и подошел к ней.

Боже мой, за столько лет у меня стёрлись в памяти её черты, помню голос, мягкий, грудной, и ещё губы, всегда почему-то шершавые. Когда я целовал её, мы от неловкости стучались носами и потом тихо давились от смеха, прислушиваясь, не идёт ли разводящий. Валя приходила ко мне, когда я стоял в карауле у строящегося здания клиники на набережной Фонтанки, – в пустом корпусе что-то потрескивало, ухало, осыпалось. Проезжающие по набережной Фонтанки автомобили светом фар выхватывали из темноты наши бледные, запрокинутые лица. Во время поцелуев бескозырка всегда сваливалась с головы и падала на клумбу с якорем в центре. От увядающих цветов пахло горько и волнующе.

Валя приносила кулёк с пирожками, и мы ели их, как зайчата, испуганно прислушиваясь к каждому шороху. Иногда где-то в самой глубине строящегося здания возникал и тотчас гас протяжный вопль. Валя прижималась ко мне и шептала: “Это филин. Филин – не к добру”. – “Филин в городе?” Чепуха! Это кричит пушкинский безумный Германн. На том месте, где строится клинический корпус, в старинные времена стоял барак для умалишенных”.

Первая любовь, первая женщина. У нас были похожие судьбы: отцы погибли на фронте, эвакуация, мыканье по чужим углам, возвращение в разоренный дом. Мать Валентины работала нормировщицей на Кировском заводе, девушка – на почте и еще училась на вечернем отделении Финансово-экономического института. Она была старше меня на два года, но выглядела моложе. Жилось им с матерью трудно. Из того времени в памяти остались дождливая осень, холодная зима, мы гуляли по набережной Мойки, грелись в подъездах, а когда были деньги, ходили в кафе “Лягушатник” на Невском. Там подавали коктейли, и туда не заглядывали патрули.

Однажды Валя не пришла на свидание. И больше не приходила. А телефона у неё не было... Прошло пятьдесят пять лет. Я не могу представить её старухой. То, что тогда вспыхнуло между нами и погасло, – неподвластно времени.

...Нет ничего тоскливее, чем сидеть на самоподготовке! Классы для самостоятельных занятий располагались на верхних этажах Принцевского корпуса. Сумрачное, выкрашенное в казарменно-жёлтый цвет здание глядело на Введенский канал.

Принцевский корпус назван так в честь принца Ольденбургского, известного мецената, построившего здание на собственные средства. Имя принца частенько мелькает в истории отечественной медицины.

Спать хочется зверски, но старшины зорко следят за порядком на самоподготовке. Курсанты отсыпаются, когда в классе присутствует помковзвода Миша Бачев, он жалеет мальчишек. Но если у сержанта “знобит спину”, выспаться не удаётся. Миша раздражён, вздыхает и жалуется на судьбу: “Эх, Бачь, Бачь! И зачем только тебя matka родила”.

За окном антрацитовая тьма. Положив под голову чемоданчик с книгами, сладко спит Миша Полукеев по прозвищу Майк Лобиалес (лобиалес по латыни – губы). У него огромные губы, и вообще он похож на неандертальца, чей бюст стоит на кафедре биологии. Миша – спокойный, добрый малый. На шутки он не обижается. Полукеев – деревенский, никогда не рассказывает о своей жизни. Ест он аккуратно, смахивая каждую крошку. Наголодался в детстве.

Мише, наверное, снится что-то приятное, он улыбается во сне, чмокает губами, вдруг, пробудившись, поднимает голову и оглушительно чихает, а через секунду столь же громко рыгает.

Толя Соловьёв весело советует:

– А теперь пёрни, Майк. Для гармонии.

Взвод взрывается от хохота. Громче всех смеётся помкомвзвода Миша Бачев, у него даже слезы выступили.

Полукеев розовеет и смущенно говорит:

– Не могу же я вот так. По команде.

– А ты передохни и начинай в обратной последовательности, – с самым серьёзным видом говорит Соловьёв, – а мы тебя поддержим.

Казарменный быт скучен. Особенно страдают те, кто за нарушение дисциплины и “неуды” по учёбе получили “месяц без берега”. Скуку и однообразие жизни перебивали розыгрышами, а то и отчаянными придумками, граничащими с хулиганством. Судя по произведениям Помяловского, всё это началось еще с бурсы. Бурсаки, ошалевшие от зубрёжки, такое вытворяли, что нам и не снилось.

Полуподвальное помещение северной части Рузовки занимала учебная лаборатория будущих морских метеорологов. Курсанты этого училища жили куда свободнее. К нам “ветродуи” касательства не имели, у них был свой КПП, своё, весьма либеральное начальство. Мы презирали “ветродуев” и завидовали им. Вели себя курсанты-метеорологи нагло, на замечания Рудоса не реагировали, чем доводили его до иступления.

Какой-то умник нашёл на хозяйственном дворе казармы брошенный “ветродуями” шар-зонд, налил в него холодной воды и положил под простыню Бо-

рису Михайлову, парню грузному и большому любителю поспать. Боря вернулся из увольнения “под мухой”, вождельно разобрал постель, разделся и брякнулся в ледяную купель. От его визга и проклятий проснулась вся казарма.

Однажды я был свидетелем целого ритуального действия – похорон саксофона. Вместе с нами учились офицеры из послуживших на флотах фельдшеро-в. Они были старше нас, вчерашних десятиклассников, на пять – восемь лет. Среди офицеров выделялся капитан медслужбы Каберидзе (точно фамилию не помню) – смуглый красавец с тонкими злодейскими усиками. Был он поразительно тощ, почти лишён зада, брюки соскальзывали, не имея опоры, он их постоянно поддёргивал, и от этого казалось, что капитан все время слегка приплясывает. С курсантами капитан заигрывал, держал себя рубахой-парнем, любил рассказывать скабрёзные анекдоты, но его сторонились, знали – стучач. Кто-то прилепил ему прозвище Саксофонов. Прозвище приросло.

И вот одним воскресным днем, во время дежурства Саксофопова, когда по неведомой причине запретили увольнение в город, в глубине ротного коридора грянул похоронный марш. Курсовой секстет “Зеленый аксолотль” под руководством Вилли Цовбуна медленно двигался к выходу. Впереди на подушке, покрытой красной скатертью, изображающей гроб, лежал саксофон, подушку нёс, понури-в голову, Филипцев, процессию завершал безутешный саксофонист Баякин. Из кубриков слышались глухие рыдания, кто-то измененным голосом ритмично выкрикивал: “Шахсей-вахсей!”, а невидимый хор подхватывал: “У-упа! У-упа!”

Саксофонов не сразу понял, что происходит. Резко побледнев, закричал, переходя на визг:

– Прекратить! Применю оружие!

И тогда откуда-то сверху тяжело ухнул бас:

*Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает,
Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”...*

Песню подхватили.

Тренировки и сборы выбили меня из учебной колеи, я основательно подзалетел с органической химией. Надгробные плиты формул, не уместающиеся на грифельной доске, приводили меня в ужас. Нашу группу вела профессор Дробинцева, добрейшая женщина, называющая нас, балбесов, мальчишками. Она всякий раз пугалась, когда перед лекцией старшина командовал: “Смирно! Товарищ профессор...” Дробинцева махала пухлыми ручками и умоляла всех сесть.

Кафедрой руководил её муж – профессор, полковник медслужбы Васюточкин. Остроносый, всегда почему-то взъерошенный, в укороченных брючках, он напоминал деловитую птицу, вроде дрозда. Его обожали, любили его яркие лекции, манеру говорить, нараспев повторяя химические термины. Возможно, у него был своеобразный дефект речи, а может, он специально растягивал слова – эффект получался эстрадный. Задрав голову, он сладостно возглашал: “А-а-рабиноза и глюко-о-пираноза!” Аудитория взрывалась от хохота. Васюточкин, не обращая внимания, продолжал лекцию дальше. Иногда, наверное, чтобы ещё больше развеселить нас, он рассказывал истории из своей жизни. Подтянув брюки и встав на цыпочки, профессор после полуминутного молчания доверительно сообщал:

– Мы с женой, профессором Дробинцевой, недавно купили машину.

– В самом деле? – заинтересовался кто-то из курсантов.

– Представьте. Поразительное легкомыслие. Поехали в Озерки. А там машину у нас украли.

Гул негодования.

Васюточкин всплеснул руками и с детской улыбкой сообщил:

– Но мы не растерялись и купили дру-гу-ю.

На этот раз хохот был такой силы, что в аудиторию заглянул командир роты.

В ту пору в Военно-морской медицинской академии преподавали учёные с мировыми именами: Быков, Орбели, Джанелидзе, Лазарев – список крупных деятелей отечественной военной медицины можно было бы продолжить.

Одни были излишне академичны, другие суховаты, третьи слишком уж суровы. На всю жизнь запомнились профессора с чудинкой, к тому же имеющие дополнительные, порой неожиданные интересы, как, например, профессор-патологоанатом Соломон Самуилович Вайль.

Первый раз я увидел его в парке академического городка бывшей Обуховской больницы. Стоял конец сентября, бабье лето. Мы, курсанты, собирали в кучи опавшие листья и жгли на костре, — ароматный дымок плыл между деревьями. Он шёл по аллее, переваливаясь на коротковатых ногах, тужурка с серебристыми полковничьиими погонами расстегнута, фуражка лихо сдвинута на затылок, старый разбухший портфель оттягивал руку. Полковник покачивал квадратной головой в такт шагам, сладко жмурился и что-то напевал. Я приставил к дереву грабли, вытянулся и отдал ему честь. Он приветливо помахал мне рукой и по-домашнему сказал:

— Здравствуй, голубчик. Погодка-то? А-а? Прекрасная пора, очей очарованье!

Снял фуражку, его лысая голова как бы высветилась изнутри, напоминая матовый плафон, что висел у нас в шестой аудитории.

— Кто этот чудак? — спросил я у приятеля.

— Профессор Вайль, патологоанатом.

— Тот самый?

— Ну!

Дело в том, что среди курсантов вот уже месяц гуляла рукопись поэмы “Сифилиада”, принадлежавшая перу ныне покойного петербургского поэта Семёна Ботвинника. Поэму сопровождала легенда, что будто бы Ботвинник, в те времена курсант Военно-морской медицинской академии, на экзаменах по патологической анатомии предложил профессору Вайлю прочесть эту самую поэму, ибо в ней была глава, посвященная гистологическим особенностям вторичного сифилиса. Профессор не только не выгнал Сёму с экзамена за нахальство, но и заставил прочесть поэму целиком и вывел в его зачетке пятерку с плюсом.

Как нередко бывает с любимыми профессорами, имя Соломона Самуиловича было окружено легендами, байками и анекдотами. Вот некоторые из них. У Вайля была привычка, входя в трамвай, снимать калоши и ставить их рядом со скамейкой, на которой сидел. Так вот, входит профессор в трамвай, снимает, как обычно, калоши, садится и мгновенно засыпает. Сопровождающий его адъюнк, чтобы не тратить зря время, — ехать далеко, в больницу имени Коняшина, начинает “клеить” соседку-студенточку, та кокетничает, резвится и роняет на колени спящему профессору батистовый платочек. Девушке пора выходить, платочек нужно взять, но так, чтобы не смутить старика. Адъюнк наклоняется, что-то шепчет на ухо профессору, осторожно указывая на платочек. Вайль сконфуженно розовеет и, приняв спросонья платок за уголок рубашки, вылезший из ширинки, начинает его торопливо туда заталкивать.

Эту якобы подлинную историю я слышал в Москве уже в качестве анекдота. Другая байка: Вайля как ведущего прозектора города пригласили в медицинский институт возглавить экзаменационную комиссию. Экзамены уже близились к концу, когда в аудиторию развинченной походкой вошёл студент и, не обращая внимания на членов комиссии, принялся рыться в экзаменационных билетах. Не найдя, видимо, ничего подходящего, хмыкнул и направился к выходу. “Молодой человек, — остановил его Вайль, — дайте, голубчик, ваш матрикул”. Тот, немало удивившись, вернулся и протянул зачётку. Профессор неторопливо начертал в ней: “Удовлетворительно”. Наступила очередь удивляться экзаменационной комиссии. “Студент ведь что-то искал, значит, он всё же что-то знает, — пояснил Вайль. — Как же я могу поставить ему неудовлетворительную оценку?”

Как ни был я подготовлен к встрече с профессором-оригиналом, он меня всё же поразил. На одной из лекций, в самом начале, Вайль вдруг умолк, некоторое время сумрачно глядел в аудиторию, потом, усмехнувшись, сказал:

— Всё, что я вам толковал сейчас о печени алкоголиков, — чепуха! Я за всю многолетнюю практику ни разу не видел классической печени алкоголика. Да-с! И вообще, мне сегодня не хочется говорить о скучных материях. Поговорим о вечном... Скажем, об эстетике. В том смысле, как понимал её Кант, то есть науке о правилах чувственности вообще...

Я впервые прослушал лекцию по философии, в которой и Кант, и Гегель выглядели не скучными придурочными идеалистами, которые свихнулись на “вещи в себе” и прочих заумных штучках, а вполне понятными, привлекательными гениями. И возможно, впервые задумался о смерти и бессмертии, которое начинается здесь, на столе прозектора, либо не начинается вовсе, и с пугающей ясностью осознал беспощадность исчезающего времени.

На одной из очередных лекций Вайль дал нам развернутый литературоведческий анализ... романа Пушкина “Евгений Онегин”. И вот что любопытно, столь необычные лекции, где философия и литература соединились с патологической анатомией, запомнились намертво, словно кирпичики укладывались там, в голове, не оставляя никого равнодушным.

Считалось, что Соломона Самуиловича невозможно вывести из себя. И всё же один раз мне довелось увидеть гнев профессора. Случилось это во время зимней сессии. Из-за эпидемии гриппа запретили увольнения. Настроение у масс достигло самой нижней черты. Экзамены мы сдавали прямо в казарме в одном из “кубриков”. Второпях организовали “службу спасения”: шпаргалки решили передавать на двух связанных между собой лыжных палках. Я вошёл, взял экзаменационный билет и уселся за крайний, поближе к двери, стол, ожидая, что сработает “служба”.

Профессор Вайль прихлебывал из стакана с серебряным подстаканником чай и доброжелательно разглядывал нашего ротного красавца Витю Денисенко. Тот плыл по всем правилам военно-морского искусства, при этом хлопал девичьими ресницами, и на лице его запечатлелось выражение, какое бывает у человека, когда с ним внезапно случился детский грех.

— Хорошо, — вздохнул профессор. — Приведите мне, голубчик, в завершение пример инволюции человеческого органа.

Имелась в виду вилочковая железа или что-то в этом роде, но в бедной Витиной голове инволюция перепуталась с эволюцией и он, выпучив глаза, брякнул:

— Головной мозг!

Вайль хрястнул авторучку об пол и, розовея, заорал:

— Болван! Это у тебя инволюция! Убирайся вон и зайди через полчаса.

В этот момент я почувствовал лёгкий укол в спину, — вступила в действие “служба спасения”: мне передали шпаргалку. Я снял отвратительно похрустывающий лист бумаги с острия лыжной палки, и мои глаза встретились с глазами профессора. Лицо его снова обрело благодушное выражение. Когда я вышел отвечать, он спросил:

— По бумажке будешь читать или так поговорим?

Меня обдало жаром:

— Лучше так, товарищ полковник...

— Отлично, отлично. Расскажите-ка мне, голубчик...

Произошло нечто невероятное: словно от прикосновения волшебной палочки в голове моей прояснилось, я увидел аудиторию, расположенные амфитеатром ряды кресел и услышал голос профессора Вайля. Я заговорил и, наверное, со стороны наша беседа напоминала дискуссию. Только в одном месте Вайль меня прервал:

— Погодите, коллега, кто вам сказал такую глупость?

— Вы... На лекции.

— Хм-м, — профессор вытер лысину платком. — К сожалению, я говорю глупости не только на лекциях. Да-с!

Расписываясь в моей зачетке, он задумчиво сказал:

— Царство мёртвых не для вас, молодой человек. Для этого вы слишком честолюбивы. Вам подавай что-нибудь драматическое, в стиле Гуго Глейзера.

Профессор оказался прав: книга австрийского врача “Драматическая медицина” лежала в моей курсантской тумбочке, я рвался спасти человечество, и с патологической анатомией мне было не по пути.

... В конце второго курса в ротах определились неформальные лидеры: Витя Шостак, Леня Балашевич и Женя Розов. Были и формальные — старшины рот Николай Ермилов и Константин Артарчук, они шли на золотые медали, прекрасно учились, словом, пример для курсантов. Их, как сейчас говорят, рейтинг снижало полное отсутствие индивидуальности: они не могли похва-

литься успехами в спорте, как Шостакович, не умели рисовать, как Балашевич, и не обладали феноменальной памятью, как Розов.

К тому же старшин, как ни крути, любить нельзя, уважать – пожалуйста, да и только, а неформальных лидеров любили, любили искренне, гордились ими.

Витя Шостакович шёл ровно, сохраняя темп, как и положено бегуну на дальние дистанции. Он был сфокусирован на результат и чётко добился цели. Витя закончил академию с золотой медалью, затем адъюнктуру, защитил кандидатскую, а вскоре и докторскую диссертацию, стал профессором, крупным учёным-физиологом. Он ушёл из жизни, когда я заканчивал эти воспоминания.

Лёня Балашевич – натура художественная, в его действиях присутствовала, скажем так, эмоциональная компонента. Учился блестяще, его конспекты, чёткие, лаконичные, где было выбрано самое главное, служили палочкой-выручалочкой для курсовых лентяев. Он тоже закончил академию с золотой медалью, имел право выбора места службы, но пошёл служить на подводную лодку Черноморского флота, заранее зная, что его модернизированный корабль перегонят по Североморпути на Тихоокеанский флот. Лёню влекли просторы. Его дневник межфлотского перехода – превосходная проза. Дневник долгое время хранился у меня, и во многом помог мне при сочинении морских повестей и романов. Лёня мог стать профессиональным писателем, художником, фотохудожником, но судьба сама сделала выбор: после долгого скитаний вернула в Ленинград. Лёня стал выдающимся офтальмологом, доктором наук, профессором.

Третий неформальный лидер – Женя Розов был наделен подлинно русским талантом – талантом души. Конечно, Господь щедро окропил и его, Женя обладал феноменальной памятью, организационными способностями, он мог стать крупным организатором военной медицины, начальником медслужбы флота, генералом. Но не стал. Как нередко случается с талантливыми русскими людьми, сорвался, не выдержал испытания судьбы. Неудачно женился ещё курсантом, развёлся, за аморальное поведение – так расценили развод – золотого медалиста сунули на спасательное судно, доживающее свой век на Балтике. Женя стал попивать, через два года был уволен в запас, остался жить в Таллине, работал спортивным врачом, тренировал самбистов, высшее достижение – судья республиканской категории.

Женька в бытность помкомзвода дважды спас меня от серьезных неприятностей. Шёл второй семестр четвертого курса. Апрель, капель, белые ночи. Нас недавно перевели на положение слушателей, мы обрели свободу, право жить дома или на съёмной квартире, могли в неслужебное время носить гражданскую одежду и получали солидную по тем временам стипендию. Вот в такой весенний день ехали мы учебной группой в троллейбусе в больницу имени 25 октября. Последним в троллейбус ввалился Гайдамович. При этом он так толкнул меня, что едва не сбил с ног. Бывший сержант весил килограммов восемьдесят, был жилист и силен. Я едва сдержался.

– Гайдамович, извинись. Из-за тебя я девушке на ногу наступил. Нехорошо.

– Да пошёл ты...

Ссориться в троллейбусе, на публике, да ещё в форме – глупо. Потому уже в аудитории, когда мы натянули белые халаты, я подошёл к обидчику и спокойно сказал:

– Повторяю, извинись за грубость, если ты порядочный человек.

Глаза у бывшего сержанта стали белыми:

– Давай в коридор, там и поговорим, сопляк.

Когда мы вышли, он без предупреждения попытался ударить меня ногой в пах – рефлекс сработал мгновенно: я коротко и сухо ударил левым боковым, целясь в подбородок, но угодил в огромный нос. Нос лег на левую щеку. Ничего подобного в своей практике я не видел, у меня опустились руки. К нам бежали ребята, за ними шёл преподаватель. Гайдамовича сразу взяли на операционный стол. Подошёл Розов, хмуро сказал:

– Я свидетель, он оскорбил тебя и первым ударил. Ты защищался. Есть осложняющие факторы: вы оба в белых халатах, и дело происходит в лечебном учреждении. За драку можно вылететь из академии.

Событие всколыхнуло курс. Гайдамовича ненавидели и курсанты, и офицеры – тот каждому хоть раз да нахамил. Комсомольское собрание с повест-

кой “Драка в белых халатах” превратилось в разбораловку опального бывшего сержанта. Начальство, уловив общее настроение, спустило дело на тормозах. Влепили нам по строгачу без занесения, на том и разошлись.

Второй раз дело обстояло куда хуже. Пятый курс, первый семестр, сидим в секретной библиотеке безвылазно, изучаем организацию и тактику медицинской службы в мирное и военное время – один из важнейших предметов. Я настолько ошалел, что по рассеянности сунул секретную тетрадь в портфель, отпросился у Розова и махнул домой. Я готовил ужин, ожидая Шуру Орлова, когда в дверь позвонили, и на пороге возник Розов, бледный от волнения.

– Где твоя секретная тетрадь?

– Я же сдал её...

– Посмотри.

Я открыл портфель и обмер: среди учебников лежала тетрадь с грифом “секретно”.

– Что же делать? – Я покрылся холодной испариной.

– Впредь быть внимательнее. Да и я виноват – не проверил. Хорошо, что ты живёшь близко.

Надвигался шестидесятый год, времена суровые, шпиономания. Самое меньшее, что меня ожидало, – исключение из академии.

Женька держал наши тетради в опечатанном чемодане и при необходимости выдавал их нам. Секретчице он сказал, что сдаёт чемодан временно, вернётся через час и продолжит занятия. Он рисковал, рисковал сознательно, чтобы выручить товарища.

Женьки уже нет. Верить в это не хочется...

Слава Малькович никогда не ходил в лидерах. Скромный паренёк из белорусской глубинки, неграмотная мать, пятеро детей, война, оккупация, землянки, мороженная бульба. Как можно получить серебряную медаль, таскаясь в школу за несколько километров через ухабы и болотины? Среди ребят белорусов, а их было на курсе немало, Малькович выделялся тем, что говорил по-русски чисто, без акцента, даже несколько старомодно, словно закончил не сельскую школу, а петербургскую гимназию или какой-нибудь привилегированный лицей.

Коллеги поразились диагностическому дару Мальковича, – этот дар не приобретается с опытом, с ним нужно родиться. У нас яркий курс, среди выпускников есть крупные организаторы военной медицины, профессора, членкоры различных академий, два писателя, профессиональный эстрадный фокусник и даже цирковой врач. А вот лечащих врачей – раз, два и обчелся. И среди них Вячеслав Константинович Малькович.

Тянулись вялые, отдающие болотной тиной брежневские годы. Однажды Слава с горечью рассказал мне, что в его отделение положили одну из удочерённых внучек министра обороны, здоровенную халду, алкоголичку, не помню уж, были ли у неё какие-нибудь эндокринные расстройства или родственники решили просто упрятать её в госпиталь. Явилась она вместе с бурым медведем на цепи и рослым порученцем для причудливых утех. В её палату боялись заходить сёстры и санитарки: медведь рычал, а пьяная пациентка швырялась в персонал посудой. Славе как-то удавалось с ней ладить, но чего это ему стоило! Кончилось пожаром, – мадам предпочитала гасить сигареты об обивку дивана.

Мальковича порой включали в экипаж чёрного реанимобиля, постоянно следовавшего за одряхлевшим генсеком. От Славы я впервые услышал историю о любимом егере Брежнева. Перескажу ее по памяти.

Генсек, удачно отстрелявшись по кабанам в Завидово, взбодрился коньячком и потребовал к себе егеря, организовавшего загон. Явился ладный тверской мужичок, простодушный, с доверчивыми глазами. Лесной человек, дитя природы. Брежнев усадил его за стол, сам налил стопарь и спросил:

– Дорогой, а воинское звание у тебя какое?

Егерь смутился:

– Какое звание, Леонид Ильич? Образование – четыре класса да коридор. Охотник я, простой охотник.

Генсек нахмурил свои знаменитые брови, поманил к себе порученца:

– Р-разъясни мне, дорогой товарищ, где я сегодня охотился?

– В военном охотхозяйстве, Леонид Ильич.

– А почему егеря без воинских званий? Непорядок!

Егерю было спешно присвоено звание майора!

Как-то раз Брежнев вновь оказался в Завидово. Превосходный загон, недурно организованный выстрел, и перед генеральным секретарём вновь возник удачливый егерь в новенькой офицерской форме, на погонах поблёскивали майорские звезды. Егерь уже слегка под хмельком.

– Доволен жизнью, дружок? – с трудом сложил Брежнев, наполняя гостью стаканчик отборным коньяком.

– Хорошо живу, Леонид Ильич. Очень хорошо. Спасибо вам.

– погоди, а в звании ты почему не растёшь? Всё майор да майор. Непорядок. Где порученец?

Тот мгновенно вырос перед генсеком.

– Переговорите с министром, подготовьте распоряжение. Нужно ввести генеральскую должность главного егеря. Пусть руководит. И кандидата искать не нужно, он перед вами.

Получив звание генерал-майора, егерь запил по-чёрному, кореша ему проходу не давали, каждый день подначки. Так и сошёл с круга хороший лесной человек. Не выдержал тяжести генеральских звёзд!

По-видимому, таких историй Слава знал немало, но рассказывал их неохотно. Как-то с горечью сказал: “Ты даже не представляешь, сколько кругом грязи...”

Слава не был отмечен ни высокими наградами, ни государственными премиями, да и диссертацию все не было времени защитить. Он лечил больных. Как-то, навещая товарища в госпитале, я зашёл к Мальковичу, он беседовал с пожилым человеком, лицо которого мне показалось знакомым.

Слава улыбнулся:

– Познакомься с моим пациентом генералом армии Штеменко.

У генерала была сухая и ещё сильная рука.

Малькович пользовал не только выдающихся политических деятелей и военачальников, чаще всего он лечил людей простых: офицеров, их жён, солдат, матросов. Простые люди благодарней, у них дольше хранится память об их спасителе.

Слава всю жизнь тянулся к искусству: театральная премьера, выставка молодых художников на Малой Грузинской – всюду попевал он с женой Галей. До Красногорска вечером добираться непросто, выручал старенький “жигулёнок”. В хлебосольном доме Мальковичей собиралась порой довольно пестрая компания: профессора Военно-медицинской академии, писатели, художники. Слава никогда не афишировал свои связи и знакомства со знаменитыми людьми. Мало кто знает, что он был лечащим врачом писателя Юрия Павловича Казакова.

С Юрием Казаковым я был знаком ещё с 1963 года, по Архангельску, куда он частенько навещался. Дружба продолжилась в Москве, бывало, по несколько дней я жил у него на даче в Абрамцево, выполняя роль домашнего врача и вышибалы: приходилось спускать с лестницы нахальных телевизионщиков, приезжающих к писателю с водкой. А пить Юрию Павловичу совсем было нельзя. Я видел все его последние рассказы ещё в заготовках, да и писем Казакова у меня сохранилось немало. Юрий Павлович и рекомендацию мне в Союз писателей дал. “Ты хоть и самый главный на флоте эпидемиолог, да и доктор, как говорится, от Бога, а всё равно медицину бросишь и станешь сочинителем”, – сказал однажды он со своей легкой усмешкой.

...Наш взвод опять кинули на уборку территории академического городка. Листья облетели, в сквозном гулком пространстве орала ворона. Мы собирали листья в кучу и на тачках свозили к грузовику, замершему у здания клиники военно-морской хирургии. Славка Филипцев подхватил тачку и запел:

*А двое враскорячку
Везли большую тачку,
А в ней сидел пузатый генерал...*

Я вяло шевелил граблями, имитируя работу. Накануне схватил два наряда вне очереди за сон на лекции, и настроение было неважное. Чапающая по тропинке старушка-санитарка с отёчными ногами сказала Славке:

– Ишь ты, ухарь, генерала он повёз, глаза бесстыжие. Небось девки от тебя плачут.

– О, синьорина, вы ошибаетесь. Я женат, и у меня четверо детей.

Шестипудовая “синьорина” улыбнулась беззубым ртом, шамкнула:

– Балабол. – А, взглянув на меня, добавила: – А ты генералом никогда не станешь, потому что работать не любишь.

Как припечатала, старая ведьма!

Генералом я так и не стал. Сбылось вещее предсказание престарелой санитарки, хотя мои предшественники, случалось, носили штаны с лампасами.

Сладкой жизни у Главного эпидемиолога в ту пору не было, да и быть не могло. Огромный флот, боевая служба – на пике. Корабли плавают в любой точке Мирового океана. Мой рабочий день начинался в 7.30 утра на Центральном командном пункте ВМФ. Нужно было успеть изучить обстановку, в случае необходимости самостоятельно принять решение, подготовить телеграмму, подписать у начальника Главного штаба, сдать связистам. И в результате корабли оперативной эскадры, направляющиеся в Коломбо пополнить запасы воды, свежих овощей и фруктов меняли курс, ибо в Коломбо возник эпидемический очаг холеры. Представляю, что думали обо мне моряки, мечтающие погулять под пальмами, – ведь давно уже в море, и вот какой-то хмырь лишил их этой радости.

Как-то утром часовой не пустил меня на ЦКП, секретчик забыл поставить в мой пропуск соответствующую звёздочку. Я пошел к заместителю начальника управления контр-адмиралу Константину Валентиновичу Макарову.

– Что за чепуха? – удивился адмирал. – Ведь вы каждый день у нас работаете. Исправим глупость. – Внимательно посмотрел на меня и добавил: – Доктор, а ведь вас нельзя пускать за границу. Как поедете, либо начинается государственный переворот в стране, либо полномасштабная война, как в Сомали.

– По-видимому, я играю роль своеобразного детонатора. Кстати, эпидемии, войны и революции развиваются по одному закону.

– Вот как? И по какому же?

– Источник инфекции, механизм передачи и восприимчивый организм. Если эту цепочку переложить на язык политологов и военных теоретиков, – всё сойдётся...

Константин Валентинович – яркий, талантливый флотоводец – сделал блестящую карьеру. Вскоре его назначили начальником штаба Балтийского флота, затем командующим, а в отставку он ушёл с должности начальника Главного штаба ВМФ в звании адмирала флота.

Судьбы иногда закручиваются в удивительный узел. Как-то раз Саша Гаврушев рассказал:

– Атомоходом, на котором я служил, командовал Константин Валентинович Макаров, моряк отличный, но человек жёсткий. Драл всех подряд. Мне тоже доставалось. Как-то в конце трехмесячного похода в Атлантику я окончательно выдохся. Свет не мил. Сажу в каюту в полной прострации. Спирт выпит, в голову ничего не лезет. По отсеку проходил командир, глянул на меня и спрашивает:

– Ты что такой мрачный, доктор? Заболел?

– Надоело всё. Мне бы сейчас стакан “шила”.

– Ну-ну.

Минут через десять заходит в каюту, в руке стакан спирта.

– Давай дерни и ложись спать. Скоро дома будем.

Когда адмирал Макаров командовал Балтийским флотом, начальником медицинской службы флота стал Александр Гаврушев, – командир лодки и доктор встретились, но уже в ином качестве.

... Старая голубая тетрадь с мальчишескими записями дала энергетический толчок, а желание воплотить замысел усилило другое событие – пятидесятилетие выпуска нашего курса.

По традиции мы встречались каждые пять лет в академическом городке у памятника Николаю Ивановичу Пирогову. Собирая материал для романа, я перелопатил кучу книг по истории медицины – пласт нераспаханный – и всё же докопался, откуда такая традиция взялась. Оказалось, её инициатор – выпускник Военно-медицинской академии 1860 года, известный гигиенист, эпи-

демиолог и санитарный просветитель, действительный статский советник Илинский Пётр Алексеевич. Именно он предложил однокурсникам встречаться у памятника барону Виллие. Мы выбрали памятник Пирогову.

Пятидесятилетие выпуска — дата серьезная, для многих, возможно, последняя встреча. Юра Кондратьев прилетел из США, приехали ребята из Финляндии, с Украины, из Белоруссии. Собирались мы, пожилые мужики, у памятника великому хирургу, кто с палкой, кто с костылем. Постаревшие жёны, взрослые дети, внуки. Поцелуи, объятия. И не было здесь удачливых учёных, академиков, профессоров и тех, чьи судьбы не состоялись, — собрались одноклассники, объединенные нерушимым курсантским братством. И так же, как многие годы назад, по осеннему парку летали серебристые паутинки, с кустов свисали тяжёлые гроздья боярышника и сладковато-бражно пахло опавшими листьями...

...Первым ушёл Володя Зубков.

Я хорошо помню то январское утро 1961 года. Севастополь, Корабельная сторона, солнце, иней на крышах, пустые, прозрачные сады. И запах, скорее осенний, чем зимний: солений, перебродившего виноградного сока и еще дыма костров — в садах жгут листья.

Мы с женой снимали крошечную комнату в доме, стоящем на улице, скачывающейся к морю, и ночами было слышно, как ворочается, живёт, погромычивает Корабельная сторона, а утром этот равномерный, неумолчный гул пробивали пронзительные трели боцманских дудок, а чуть позже, во время подъёма флагов на кораблях, трубили горнисты.

В нашей комнатке стояла старинная кровать с медными шарами на спинках, пузатый комод, а в кухне над печью висели гирлянды лука и чеснока. Во дворе, за сараем, прилепилась коптильня. Хозяйка, вдова моряка, коптила в ней янтарную, с золотыми прожилками барабульку. В ветреную погоду ветви миндаля с лёгким звоном стучали в окно.

Я шёл, представляя уютную тишину комнаты, нашего временного жилища, прибежища среди дорог, перестука вагонных колес, тоскливого крика паровоза, сулящего печаль разлуки и радость встреч. Я был счастлив в то утро, с жадностью вдыхал горьковатый дымок костров, чадающих за высокими каменными заборами, и всё вокруг виделось отчетливо, остро и так же остро запоминалось. Я миновал площадь, на которой стоял пустой троллейбус с опущенной дугой и молочно-белыми, запотевшими за ночь стёклами, и тут увидел их. Три офицера и мичман шли какой-то странной походкой, будто плыли, поддерживая друг друга. И я не сразу понял, что они пьяны. Я знал этих парней — вместе столовались в бригаде подводных лодок.

“Что это они с утра пораньше?” — подумал я и пошёл навстречу, вглядываясь в их окаменевшие лица, еще не испытывая, а как бы предчувствуя тревогу.

— Привет! — сказал я. — Со свадьбы, что ли?

— Какая свадьба, — хмуро отозвался старший лейтенант, штурман. — “С-80” не вернулась из полигона. — Губы у него дрогнули. — А у меня на ней друг, на соседних койках в училище спали.

“С-80”? Лодок с таким номером в нашей бригаде не было.

— А где? В каком полигоне? — растерянно спросил я.

— На Северном флоте. Второй день ищут. Гробанулись, видно...

И они прошли мимо, унося на плечах тяжёлую ношу горькой вести. А вокруг всё кричало о жизни, о скорой крымской весне с влажными ветрами и розовой пеной цветущего миндаля...

О подводной лодке “С-80” ходили невероятные слухи, один, самый нелепый: лодка со всем экипажем ушла к... супостату. Говорят, семьям погибших какое-то время даже не выплачивали пенсии. Пресса в те годы угрюмо отмалчивалась. Первые сообщения появились лишь в 1990 году.

Из рассказов участников ЭОН — экспедиции особого назначения, документов, публикаций мне удалось более-менее точно восстановить события, происшедшие много лет назад.

27 января 1961 года подводная лодка “С-80” под командованием капитана третьего ранга Ситарчика шла под перископом в режиме РДП — работы дизеля под водой. Штормило. В том районе Баренцева моря всегда беспокойно. Выдвижные устройства покрылись коркой льда. Когда волна захлёстывала

шахту РДП, дизель начинал стучать с перебойми, в отсеках падало давление, и рулевой-горизонтальщик морщился, удерживая штурвал. Где в этот момент был Володя Зубков? Скорее всего, на "боевом посту" во втором отсеке.

Командир лодки не отходил от перископа. Ударил снежный заряд, видимость резко снизилась, а тут, как всегда бывает по закону подлости, забарахлила радиолокационная станция. Командир развернул перископ и сквозь белесую муть с трудом различил тень судна, скорее всего траулера, пересекающего курс лодки, коротко скомандовал: "Лево на борт", пытаясь разойтись с траулером, но через несколько минут понял: опасность столкновения сохранена, и тогда последовала команда: "Срочное погружение!" Дизель замер. Наступившую тишину разорвал нарастающий гул поступающей воды, и лодка стала стремительно проваливаться на глубину. Трагедия произошла в 14 часов 20 минут.

Это потом комиссия установит, что у "С-80" была конструктивная особенность: шахта РДП оказалась значительно шире, чем на других подводных лодках такого типа, на верхней крышке шахты намерз лёд, и она не могла закрыться. Когда вода ринулась в пятый отсек, два моряка пытались предотвратить аварию, но было уже поздно. Их так и нашли вместе. Установлено и то, что экипаж до конца боролся за живучесть, и им удалось сделать почти невозможное — мягко опустить лодку на грунт. Они пытались всплыть, но иссякли запасы воздуха высокого давления...

Подводную лодку подняли и отбуксировали в бухту Завалишина. Для извлечения тел погибших были созданы бригады врачей. Володю Зубкова опознали по медицинским эмблемам на истлевших погонах. Выяснилось одно странное, почти мистическое обстоятельство: Володя вышел на ракетные стрельбы... не на своей лодке. Однокашник, Костя Сотников, уезжавший в Архангельск на курсы усовершенствования, попросил Зубкова вместо себя сходить в море, всего на несколько суток. Судьба у Кости тоже не сложилась. Должно быть, его угнетало, что он как бы проживает чужую жизнь.

Филипцев завершил жизненный путь не столь героически. После выпуска Славку распределили в бригаду дизельных лодок в Ягельном. Оттуда в Северодвинск, где я тогда служил, докатывались слухи о его нестандартных поступках. Филипцев выучился играть на гитаре и стал любимцем дружеских застолий подводников. В Северодвинске перекрещивались пути многих моих однокашников, чьи атомные подводные лодки достраивались или стояли в ремонте на СРЗ "Звёздочка". Да и не только. Я жил напротив госпиталя, рядом — штаб военно-морской базы, так что вероятность встреч возрастала. Когда я только не встретил за годы службы в Северном Париже — так называли Северодвинск тех лет. Боря Никонов, Петя Терехов, Боря Ефремов, Леня Балашевич, Володя Шупаков — всех не вспомнить. В шестьдесят седьмом году меня назначили старшим помощником начальника медицинской службы Беломорской военно-морской базы. Начмед Иван Блажков вскоре укатил на пять месяцев в Ленинград на учёбу, а я в звании капитана стал рулить медслужбой базы первого разряда с полным комплектом учреждений, обеспечивающих операционную зону величиной с Францию, куда заодно входили и Соловецкие острова.

Как-то я сидел в кабинете, вёл прием посетителей, вдруг дверь без стука отворилась и вошел Филипцев в белом халате, под которым виднелся китель не первой свежести.

— Юрец, ты стал бюрократом, — не поздоровавшись, сказал Славка, — в коридоре очередь. Офицеры, бабы, одна с дитём. Не стыдно?

— Нет. Плановый приём посетителей. Путёвки в санатории, детсады, кадровые вопросы... Да мало ли. Откуда ты?

— От верблюда, гражданин начальник. Лодка в ремонте. Вчера пришли. Жить негде.

— У меня будешь жить. Жена на учёбе в Харькове. Где ты взял халат?

— Мишу Бачева раздел. Я и не знал, что он теперь под твоим началом служит. Без халата к тебе не попадёшь. Очередь разорвет. Ты когда освобождаешься?

— В двадцать один, не раньше. Бумаг куча накопилась. В обеденный перерыв отведу тебя домой. На лодке не хватятся?

— Я командира предупредил.

— Тогда погуляй.

– Где тут у вас магазин с напитками?
– Рядом, на улице Воронина. Попусту в городе не шляйся, комендант города Вебер – очень серьёзный человек.
– Зубки обломает. – Филипцев стянул халат – на плечах сияли майорские погоны. – Ну что? Обскакал тебя?
– Нет, Славик. Сейчас кадровик звонил, поздравил с присвоением очередного... Погоны офицерам моего ранга вручает лично адмирал, командир базы. Скушал? А теперь изыди.

Вечером мы распили бутылку “Кориандровой” – жуткое пойло. Славка рассказал, что женился, у него сын. Жена в Москве под опекой Александры Петровны. Как дадут жильё, обе приедут, с Серегой. Жене двадцать лет, красавица. Потом Филипцев читал стихи собственного сочинения.

Лодку отремонтировали, Филипцев исчез. Встретились мы уже в Москве. Славка служил начмедом узла связи в Горках Ленинских. В подчинении у него оказался Шура Орлов. Сейчас, когда Славки давно уже нет, я с горечью вспоминаю его и чувствую свою вину. Филипцев стремительно спивался. Появлялся он у меня всегда неожиданно. В лёгком подпитии он оставался прежним, веселым, остроумным, неплохо пел под гитару, но стоило ему перебраться, мрачнел, говорил о близкой смерти. С женой он развёлся, она попала в тюрьму, потом на поселение. Сын воспитывался у чужих людей. Последние годы Филипцев постоянно жил на даче. Появлялся редко, чаще осенью, и всегда с огромным букетом белых астр.

Умер Славка весной 1994 года. Деньги на похороны выделил его одноклассник, бизнесмен, да и мы скинулись. Я выбил в АХО ВМФ автобус, собрал однокашников-москвичей. Ехали в деревню, расположенную километрах в тридцати от железнодорожной станции Сходня. Филипцев лежал в гробу в залоснившейся флотской тужурке без погон. На лбу кристаллики льда. Робкое солнце, птицы, жизнь... Славка упокоился на сельском кладбище. Рядом с могилой ржаное поле. Сын на похороны не приехал, зато пришли все жители деревни, его любили.

... Всякий раз, прощаясь с Петербургом, я обходил памятные с курсантских времён места. С годами это стало своего рода традицией.

Перенасыщенный транспортом Загородный проспект, шелест иномарок, троллейбусов, лишь изредка со скрежетом выкатывал трамвай, возвращая утраченное время. Дальше – сумрачное здание Военно-медицинского музея, где в разделе “Врачи-писатели” некогда экспонировались мои книги, часы, подаренные главкомом, и трубка. Как же писатель без трубки? За тусклыми, давно не мытыми стёклами окон музея – темень. Ремонт, а может, музей и вовсе закрыли. В скверике перед музеем всё также бегали и кричали дети. Слева выглянула выкрашенная в салатный цвет башенка бывшей Обуховской больницы – в башенке шестая аудитория. Как там сладко спалось после ночного патрулирования. Руслан Годинов носил в чемоданчике резиновую надувную подушку с чехлом, на котором было вышито “С добрым утром”. В шестой аудитории я стал вести дневник, который помог мне вернуться в курсантские годы. Введенский канал давно засыпали. Но там, где он нёс свои мутные воды в Фонтанку, недовольно бугрится асфальт. А старые тополя остались, цел и высоченный жёлтый забор, через который ухитрились перелезть томимые любовной страстью самовольщики, а над зданием, где помещалась кафедра физики, всё так же торчала закопчённая труба, на которую на спор залез курсант, а ныне профессор психологии Толя Соловьев. Принцевский корпус грустно глянул на меня мёртвыми окнами, он одряхлел, покрылся морщинами и напоминал старушку, сидящую на скамейке у загаженного подъезда. Клинический корпус давно построили, на фасаде прикрепили мраморные таблички с именами выдающихся учёных. Я поискал глазами клумбу с якорем, куда ронял бескозырку, когда целовал Валю, и не нашел. А навстречу мне по набережной Фонтанки шли длинноногие, сказочной красоты студентки, и я для них уже был представителем иного мира. Монстром ушедшей эпохи. Да, всё проходит...

– Прощай, Рузовка!